

Дежё Винце

Жизнь и смерть Сергея Есенина

Драма в десяти действиях

Перевод Ю. Гусева

Действующие лица:

Сергей Есенин

Гриша Панфилов

Катя, младшая сестра Есенина

Лидия Кашина

Анатолий Мариенгоф

Айседора Дункан

Александр Кусиков

Василий Качалов (и его собака по кличке Джим)

Николай Клюев

Первый сотрудник ОГПУ

Второй сотрудник ОГПУ

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

*Место действия: дом Есениных в селе Константиново;
лето 1913 года*

Сергей Есенин (он, как всегда, элегантен) и Гриша Панфилов сидят в горнице, за накрытым клеенкой столом. На столе — книги, бумага, карандаши; среди книг — лампа с зеленым абажуром. Сергею и Грише по 18 лет. Время от времени снаружи доносятся звуки деревенской жизни (например, ржание жеребенка).

ЕСЕНИН (с невеселой улыбкой). Представляешь, Гриша... Позавчера, в Рязани, подходит ко мне старуха цыганка: дай, говорит, погадаю по руке, всего за рублик. Вся такая сморщенная, сгорбленная... Посмотрела мне на ладонь, потом поднимает глаза испуганные: а умереть тебе, соколик, молодым. И я же ей еще заплатил... Что скажешь на это, дружище?

ПАНФИЛОВ. Что скажу? По-моему, любое гаданье — чистой воды суеверие. Надеюсь, ты эту галиматью не принял всерьез?

ЕСЕНИН. Всерьез? Конечно, нет, что ты!.. Но рубля жалко было... Да шучу я, шучу, не жалко! Я ведь, в конце концов, доброе дело сделал: в этот день бедняга не голодная легла спать... Да, брат, любить надо людей и жалеть, и не одних только страждущих да праведных, а всех, даже подлых, лживых, даже преступников... Потому что ты сам легко можешь стать одним из них. Ведь человечество — единая душа; как сказал апостол Павел: «От одной крови Он произвел весь род человеческий...» Стало быть, те многие и многие, иной раз ни в чем друг на друга не похожие индивиды — все-таки как бы один человек... Ежели люди, в особенности люди грамотные, образованные, это поймут, то на маленькой нашей планете не

будет человек человеку волк, тогда и распри, кровопролития более не станут возможны... Жаль, лишь очень немногим сегодня дано проникнуться этим единством, лишь у крайне редких определяет оно состояние души, – вот почему живем мы в таком темном мире...

ПАНФИЛОВ. А ты, Сережа, что-то видишь из того высшего света, который сиял на холмах Галилеи... Нагорная проповедь была такой возвышенной, Нагорная проповедь, что прозвучала в Божьем храме под куполом неба. Только вот что, друг мой: в мире нашем, который ты называешь темным, время идеалов давно, я уверен, прошло, и вокруг ты слышишь теперь только: «Деньги – это все!» Если же ты не согласен с этим, люди скажут: «Ребенок ты еще, несмышлениш, вот вырастешь, тогда все поймешь». И заранее причислят тебя к поборникам мещанского счастья, потому что для них в жизни нет ничего важнее.

ЕСЕНИН. В жизни... Хм, жизнь... Не знаю я, в чем ее цель, но ведь даже Иисус – который был воплощением всепрощения и любви, – даже Он не раскрыл смысл нашего бытия; Он показал лишь, как надо жить... А к чему мы придем благодаря этому, никто даже предположить не в силах. Какая-то тайна тут есть... Мистерия бытия. Мы, однако, все же должны знать, зачем мы живем!

ПАНФИЛОВ. Я, правда, не то чтобы очень уж набожный – ты-то знаешь, – но и я считаю, что после «смерти» следует другая жизнь... В вечном и бесконечном пространстве трансцендентного мира. То есть бренное земное бытие незаметно переходит в бытие иное, и, может быть, то, новое бытие – бытие более высокого порядка, оно насыщено смыслом, оно – самое цельное.

ЕСЕНИН. Я тоже не слишком набожный, но думаю примерно так же. И вот что меня мучает: это наше земное бытие, эти несколько десятилетий, пока мы здесь, это время, которое мы обречены здесь провести, – для чего они? Неужто ж нельзя добиться ответа на этот вопрос?

ПАНФИЛОВ (*с некоторой иронией*). В свое время уже Гильгамеш чего только ни делал, чтобы это понять, – и даже он, хотя был царем, потерпел неудачу... Но вдруг тебе, поэту, удастся приблизиться к истине... Тем самым ты достойно завершишь тысячелетние усилия человечества. Вперед, Сергей!

ЕСЕНИН (*ухмыляясь*). Спасибо, Гриша. Вижу, ты в форме, юмор у тебя прежний... (*Сменив тон.*) А что, может, только там, на том свете, в вечном бытии нам дано будет, задним числом, понять смысл брэнной земной жизни? Бросив мудрый взгляд из царства небесного... Гм... «Русскому человеку в высшей степени свойствен возвышенный образ мыслей, – пишет Чехов, – но скажите, почему в жизни он хватает так невысоко? Почему?» Ну, как бы ты ответил на вопрос Чехова?

ПАНФИЛОВ. Я — пас.

ЕСЕНИН (*другим тоном*). Ну, а что ты думаешь насчет службы?

ПАНФИЛОВ. Тут я мог бы тебе сказать кое-что...

ЕСЕНИН. Полно, дружище, не трудись! Это был всего лишь поэтический вопрос.

ПАНФИЛОВ. Ничего странного, ведь ты – поэт, ты родился поэтом. Так же, как герой Карфагена – полководцем, величайшим полководцем всех времен...

ЕСЕНИН (*улыбаясь*). Я пацифист, но слонов люблю... Однако от Ганнибала давай вернемся к службе: мой свободолюбивый дух не способен мириться с чиновничьим бытием, с жизнью по регламенту. Я и к учительскому-то ремеслу не питал особой любви: не поддержи ты меня, я, может, и училище не закончил бы. Но учительство, по сравнению с канцелярской рутинной, было бы просто райское блаженство.

ПАНФИЛОВ. То, что ушло, всегда кажется прекрасным. Когда-нибудь и те унылые годы будут сиять в твоей памяти, поверь мне!

ЕСЕНИН Хорошо еще, что предки наши ввели в обычай день воскресенья и многочисленные праздники. Ведь главная моя беда была в том, что в повседневном толчении воды в ступе я слишком мало времени мог уделять литературе... Ладно, давай сменим эту неприятную тему! *(После некоторой паузы, совсем другим тоном.)* Гриша, я так рад, что ты наконец заглянул к нам, в эту глушь, в Константиново.

ПАМФИЛОВ Я тоже ужасно рад, что смог приехать и провести с тобой почти целый день. Матушка у тебя такая милая, и такой чудесный обед приготовила! Жаркое из утки я и на том свете буду вспоминать.

ЕСЕНИН *(улыбается)*. Только это был гусь, га-га-га!

ПАМФИЛОВ. В самом деле? Ну, неважно, суть остается прежней: это был настоящий лукуллов пир! А сестренки твои – до чего же красавицы!

ЕСЕНИН. Особенно — двухлетняя Шура, да? Я-то, конечно, уверен, что соседова дочка, которой девятнадцать и у которой все на месте и сзади, и спереди, тебе бы еще больше понравилась; но не повезло тебе, старина: она сейчас – в Кузьминском, у деда с бабкой...

ПАМФИЛОВ *(смеется)*. Ты тоже, я вижу, в форме...

ЕСЕНИН. А вообще-то Верочка – она не только красавица, но еще и большая умница. Учится в университете Шанявского, да и меня уговаривает туда поступить.

ПАМФИЛОВ. Я с ней согласен. Поступай. Ум у тебя – дай бог всякому.

ЕСЕНИН. Видишь ли... Там платить надо, так что у меня никаких перспектив. Если же учиться и работать, то на стихи не останется времени.

ПАМФИЛОВ *(ухмыляясь)*. А может, причина другая? Сознайся, Сережа: в голове у тебя – не высоты науки, а совсем другие высоты... Вернее сказать, рельефы – в кружевных платьях с оборочками...

ЕСЕНИН *(подхватывает тон, взятый приятелем)*. Скажу больше: не столько высоты, сколько глубины...

В этот момент в горницу вбегает восьмилетняя Катя, сестренка Есенина.

ЕСЕНИН (*прервав смех; с искренней нежностью*). А стучаться кто будет, а, «барышня»?

КАТЯ (*застенчиво*). Матушка спрашивает, когда вы собираетесь на Оку идти?

ЕСЕНИН. Скажи ей, Катюшенька, скоро пойдем, но ни еды, ни питья нам с собой не надо, мы только на рыб посмотрим.

Катя широко улыбается и уходит.

ЕСЕНИН. Невероятно много значит для меня семья: родители, сестренки, дедушка, бабушка... (*Глаза его заволакиваются грустью.*) Увы, родителей отца моего, ты ведь знаешь, уже нет; то есть, может, в царствии небесном они есть... Но давай собираться, Ока ждет! (*Порывисто встает.*)

Конец первого действия

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Место действия: горница усадьбе Лидии Кашиной в селе Константиново; весна 1915 года.

Есенин и красавица Лидия Кашина (ей 24 года) сидят на рекамье. Время от времени доносятся звуки деревенской жизни (например, голубиное воркование).

ЕСЕНИН. Раньше я был чистый идеалист. Теперь – разве что наполовину, а то и меньше.

КАШИНА. Ты же еще совсем юный, Сережа!

ЕСЕНИН. Нет, Лидия, это не потому, что я очень молод – и, значит, восприимчив к чужим идеям. Дело в том, что в этом проклятом мире, где главное – деньги, корыстные интересы, я на своем пути столкнулся с почти непреодолимыми препятствиями. Вокруг – подлые, мелкие людишки... Да вдобавок еще этот ужас, эта война. Вот и угасает во мне мало-помалу вера в людей, и я уже не так готов открыться каждому встречному.

КАШИНА. Ну, что за речи, Сережа! Какие такие «подлые людишки»? В Москве, что ли?

ЕСЕНИН. Неважно, где... Это те, кто, подло пряча свои истинные помыслы, тянут грязные лапы к нежным струнам моей души. Этих людей я – да простит меня Иисус! – этих людей я не могу любить. (*Голос его становится суровым*) С каким удовольствием я бы бросился на них с ножиком, чтобы вырезать на них, как на гладко отесанной доске, то, что мне хочется. (*Небольшая пауза.*) Вы, люди высшего, привилегированного слоя, едва ли способны понять тех, кто, поднявшись из самых глубин, борясь с самими собой и со средой, стремится к вершинам бытия.

Нечеловечески трудна эта борьба. Вам же, богатым, жизнь преподносит все готовенькое, словно на блюде. Все! Все! Вам не нужно за это бороться.

КАШИНА. Эй, успокойся! Не оскорбляй меня, будь добр! У нас жизнь тоже не сахар, особенно здесь, в отсталой, нищей России. Поверь, у нас тоже хватает трудностей и забот!

ЕСЕНИН. Прости, я не хотел тебя обидеть! Ты же не виновата, что родилась в богатой семье... Если бы все богатые были такими, как ты, болели бы за судьбу бедняков... как ты, умная, образованная, разбирающаяся в искусстве... как ты, думающая не только о деньгах, не только о выгоде...

КАШИНА. Ну вот, теперь ты в другую крайность впадаешь. *(Обнимает повесившего голову поэта.)*

ЕСЕНИН *(осторожно высвобождаясь из ее объятий)*. Лаванда... *(Принюхивается.)* О, с ума сводят меня эти небесные ароматы... Но позволь сначала прочитать стихотворение, которое я написал для тебя!

КАШИНА. Ты мне написал стихи? Стихи о любви?!

ЕСЕНИН. Точнее говоря, ты меня на них вдохновила, ты, моя прекрасная дама... А если совсем точно: вдохновило твое отсутствие. Я сочинил его еще осенью, знаешь, когда тебя скрыл туман разлуки, и я думал, что мы никогда больше не увидимся...

КАШИНА. Ну, читай же скорей, не тяни!

ЕСЕНИН. Может, мне придется заглядывать в шпаргалку. Как в Спас-Клепиках... *(Вытаскивает из кармана листок бумаги. Время от времени заглядывая в текст, читает стихотворение.)*

Не бродить, не мять в кустах багряных

Лебеды и не искать следа.

Со снопом волос твоих овсяных

Отоснилась ты мне навсегда.

С алым соком ягоды на коже,
Нежная, красивая, была
На закат ты розовый похожа
И, как снег, лучиста и светла.

Зерна глаз твоих осыпались, завяли,
Имя тонкое растаяло, как звук,
Но остался в складках смятой шали
Запах меда от невинных рук.

В тихий час, когда заря на крыше,
Как котенок, моет лапкой рот,
Говор кроткий о тебе я слышу
Водяных поющих с ветром сот.

Пусть порой мне шепчет синий вечер,
Что была ты песня и мечта,
Все ж, кто выдумал твой гибкий стан и плечи –
К светлой тайне приложил уста.

Не бродить, не мять в кустах багряных
Лебеды и не искать следа.
Со снопом волос твоих овсяных
Отоснилась ты мне навсегда.

КАШИНА (*с сияющим лицом*). Спасибо, спасибо, спасибо! Не могу выразить, как оно мне нравится! Я просто с ума схожу... А весна, новая весна нашей любви, только усиливает во мне волшебство этого дивного осеннего стихотворения. Ах, я так рада, так рада! А рукопись я получу?

ЕСЕНИН (*протягивает Кашиной листок*). Вот, пожалуйста... Только бы войны не было! Никогда! Нигде!

КАШИНА (*кивает; берет рукопись*). Когда выходит твой сборник?

ЕСЕНИН. Была уже верстка, так что стихи напечатаны, но книга пока не выходит, я решил ее придержать, подожду, пока вернется из-за границы критик Измайлов... А это, «Не бродить, не мять», я включу в свой следующий сборник, и еще я отнес его в «Огонек», там оно примерно через месяц выйдет... Я очень рад, что тебе понравилось.

КАШИНА. Просто безумно понравилось. Через месяц я буду в Москве и обязательно куплю журнал... Он ведь еженедельный?

ЕСЕНИН. Да.

КАШИНА. «Огонек»... «Огонек»... А вообще-то мы ведь с тобой и в Москве можем встречаться... (*Насмешливо.*) Господин генерал, драгоценный мой муженек, нынче по горло занят пушками, артобстрелами, вижу я его редко. Дети по нему, конечно, скучают...

ЕСЕНИН. Меня до осени от призыва освободили... Знаешь, из-за зрения...

КАШИНА. Проклятая война!

ЕСЕНИН. Увы, человечество не умеет жить, не убивая друг друга. История — сплошной перечень преступлений, совершаемых нациями... Но нам-то зачем понадобилось влезать в это кровопролитие?!

КАШИНА. Многие, в том числе и мой муж, считают, что мы должны были прийти на помощь сербам: они ведь тоже славяне.

ЕСЕНИН. Что касается меня, у меня одно желание: чтобы народы понимали друг друга! Я люблю рязанские просторы, люблю своих

соотечественников, но решительно осуждаю войну и ура-патриотизм; такая любовь к родине мне чужда. У меня в печенках уже этот коррумпный, кровавый режим, как и глава его, (*саркастическим тоном*) царь-батюшка. Ему не нужно ведь лично терпеть трудности, связанные с войной, поэтому он так легко, словно речь идет о поездке на охоту, принял решение вступить в войну.

КАШИНА. Ну хорошо, давай все-таки перейдем к более мирным темам! (*Краткая пауза*). Вот если бы ты женился на мне, я, Лидия Ивановна Кашина, завтра же

ЕСЕНИН (*с улыбкой прерывает ее*). Ты говорила о более мирных темах...

КАШИНА. Дай мне закончить! Что бишь я хотела сказать? Видишь, ты меня сбил... Ах да! Если бы ты женился на мне... если пообещал бы, что поведешь под венец, я завтра же встретила бы с мужем и напрямик объяснилась с ним. Подожди, не перебивай! Но ты не собираешься жениться, потому что ты человек искусства, потому что в тебе удивительный дар божий, а семейная жизнь не для тебя... По крайней мере, сейчас. Но если ты захочешь, то всегда меня найдешь: зимой, летом, весной, и когда осень бродит «в кустах багряных»... Можешь рассчитывать на меня во всем! (*Повторяет по слогам.*) Во-всем, во-всем!

ЕСЕНИН (*растроганно улыбается*). Ну, сейчас уже можно говорить?

КАШИНА. Еще нет!.. (*Целует его в губы.*) Ну, что ты желаешь сказать, любовь моя, мой златовласый поэт? Может, какую-нибудь свежую, сочную сплетню про Распутина?

ЕСЕНИН. Нет! Я хочу сказать вот что: я работаю с упорством, огромным, как Гималаи, для того, чтобы, одолев все препятствия, громоздящиеся передо мной, достигнуть вершин мировой поэзии, и чтобы это, пускай против своего желания, признали даже самые заклятые мои враги! А если не признают, пускай лопнут от зависти!

КАШИНА Для меня ты и сейчас – самый великий. Я люблю тебя больше, чем Катулла, Гельдерлина, Бодлера, даже больше, чем Пушкина, нашего дорогого Пушкина! *(Покрывает лицо поэта страстными поцелуями; затем, наклонившись к его уху, читает ему 75-й сонет Шекспира.)*

Ты утоляешь мой голодный взор,
Как землю освежительная влага.
С тобой веду я бесконечный спор,
Как со своей сокровищницей скряга.
То счастлив он, то мечется во сне,
Боясь шагов, звучащих за стеною,
То хочет быть с ларцом наедине,
То рад блеснуть сверкающей казною.
Так я, вкусив блаженство на пиру,
Терзаюсь жаждой в ожиданье взгляда.
Живу я тем, что у тебя беру,
Моя надежда, мука и награда.

В томительном чередованье дней
То я богаче всех, то всех бедней.

ЕСЕНИН. Спасибо, душа моя! И тебе спасибо, бессмертный Вильям!
(Машет рукой, как бы обращаясь в далекое прошлое.)

КАШИНА. Это тебе за «багряные кусты»: шедевр за шедевр...

ЕСЕНИН. В «багряных кустах» любовного пыла все-таки меньше; а ты – как «прекрасная канатчица», как Луиза Лабе. И, конечно, как Сапфо...

КАШИНА *(смеется с чувственным вызовом, затем цитирует Сапфо)*.
«Но терпи, терпи: чересчур далёко все зашло...»

Конец второго действия

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Место действия: московская квартира Анатолия Мариенгофа; весна 1921 года

Есенин и его друг, Анатолий Мариенгоф (стройный молодой человек 24-х лет), сидят за столом, пьют вино. Тихо звучит русская народная музыка.

ЕСЕНИН. Москва не развивает литературу, она живет тем, что получает в готовом виде из Петрограда. Здесь даже журналов нет. В сущности, ни одного настоящего.

МАРИЕНГОФ. Всего лишь несколько желтых листков. И мы, писатели, которых не относят к числу советских, даже в них печататься не имеем возможности; а если и издаем что-нибудь, то лишь со скандалом. Нас держат на коротком поводке, и ты увидишь, нас со временем уничтожат, увидишь, брат, уничтожат! Мы пережили эпоху подавления масс, а теперь переживаем эпоху подавления личности — как бы от имени масс.

ЕСЕНИН. А ведь Гете считал, что личность — это главное сокровище, которое есть у человека.

МАРИЕНГОФ. Скажу больше: без цельной личности, без свободы индивидуума нет настоящего, эффективного общества...

ЕСЕНИН. О настоящем обществе, о том, чтобы его создавать, эти бандиты думают в последнюю очередь: ведь тогда никакую диктатуру пролетариата нельзя будет установить.

МАРИЕНГОФ. Диктатура пролетариата? Друг ты мой, то, что мы видим, – диктатура клики. Это и в самом деле диктатура, только не пролетариата, а кучки заштатных политиков, которые заграбастали в свои руки куда больше власти, чем ее было у прежней аристократии.

ЕСЕНИН. Правду говоришь.

МАРИЕНГОФ. А все остальные должны сидеть и помалкивать.

ЕСЕНИН. Или, из корыстных интересов, а то и просто по глупости, с воодушевлением или нехотя, обслуживать тех, кто узурпировал власть...

МАРИЕНГОФ. Гм...

ЕСЕНИН (*разгорячившись*). Я ужасно себя чувствую! Как если бы Колумб, подойдя, наконец, к берегам нового континента, обнаружил: он терпеть не может Америку...

МАРИЕНГОФ. Намедни сижу я в пивной на окраине, сижу себе тихо, выпиваю. А за соседним столиком один наш герой, «краса и гордость» революции, то есть безумец и фанатик...

ЕСЕНИН (*перебивает его*). Фанатизм — признак подавленных сомнений; во всяком случае, по Юнгу. Ну, продолжай!

МАРИЕНГОФ. Так вот, этот безумец и фанатик, забывший о Боге, развлекает своих собутыльников, рассказывает им, как он собственноручно расстрелял группу офицеров, сорок три человека, и какую почувствовал после этого теплоту в груди, какое приятное ощущение, спокойствие, радость, какое тихое удовлетворение. Словно ангелы, говорит, запели на небеси... «Словно ангелы запели», — повторял я про себя, опустив голову. А потом, глядя на бокал с вином, размышлял над тем, что большевистская революция, собственно говоря, создала новую религию: заменила церковные догмы и ритуалы другими, похожими догмами и ритуалами, только уже не религиозными, а государственными. Серп и молот – это ведь, если смотреть с этой точки зрения, тот же крест...

ЕСЕНИН. Гм... причем крест тяжкий. На вершине общественной пирамиды оказались люди, у которых отсутствует «ген порядочности». Возникло совершенно безумное общество. Общество душевнобольное, общество самоубийственное, в котором самая выгодная позиция — бесчестная.

МАРИЕНГОФ. Пожалуй, только внезапный крах могучих древних империй мог вызывать такой библейский ужас... Ужас, который охватывает тебя, когда видишь, как совершает самоубийство великий народ...

ЕСЕНИН. Здесь, в Москве, обычным делом стали грабежи, убийства, разгром пивных. Нормальное стало экстремальным, экстремальное же — привычным. А доноительство, один из симптомов коллективного психоза, приняло такой характер, такие масштабы, что ты, оказавшись в общественном месте, не решишься поделиться мыслью с близким другом... О, как же я устал от этого от всего!.. Да и алкоголь основательно нервы подорвал.

МАРИЕНГОФ. Зачем же ты столько пьешь?!

ЕСЕНИН. Зачем? Прежде всего... затем, чтобы хоть как-то выносить все, что вокруг происходит... И — до крайности раздражает то, что в этом кавардаке для карьеры не нужно ни таланта, ни знания. Мы уже дожили до того, что такой «новатор», как Ходасевич, считается первоклассным поэтом.

МАРИЕНГОФ. Да, мне тоже показалось невероятно странным, что сам Андрей Белый посчитал Ходасевича достойным всяческого внимания и благословил его, еще до того, как тот уехал в Германию...

ЕСЕНИН. Один французский актер, Шарль Дюллен, замечательно выразился: псевдоноватор отвергает вечные источники подлинной творческой работы, такие, как переживания, естественность, достоверность, — и делает это лишь потому, что эти вещи ему не даны. Взамен он выдумывает что-то такое, что не выходит за пределы его сил. Пятится

назад, но при этом провозглашает себя авангардом... Меня же Пролеткульт, можешь себе представить, заклеил как «представителя реакции», который «совершенно не нужен пролетариату».

МАРИЕНГОФ. Слышал я, слышал что-то в таком роде...

ЕСЕНИН (*ерошит себе волосы*). Особенно на меня нападают за библейские, религиозные темы и образы... Вот и скажи, можно это выдержать на трезвую голову?!

МАРИЕНГОФ. Да-а... Разве что с зубовным скрежетом. Но – повторяю за Сократом: лучше терпеть несправедливость, чем совершать ее.

ЕСЕНИН. Я тоже так думаю... Только слишком слабое это утешение... если утешение вообще. Гм...

МАРИЕНГОФ. Я и сам пишу все меньше, да и то в стол. Зато все больше играю на фортепьяно: часто ради того, чтобы кусок хлеба заработать...

ЕСЕНИН. А мне многие на нервах играют... Но все равно я никогда не откажусь от своих религиозных стихов, потому что для меня они очень важны... Хотя бы с точки зрения того пути, который я прошел в поэзии до революции: я включаю их в каждый свой сборник. И в этом меня не остановят даже большевистские охотники за скальпами! (*Небольшая пауза.*) Во время революции я душой и телом был на стороне Октября, но теперь с грустью вижу: то, что здесь разрушая строят, никакого, ну совершенно никакого отношения не имеет к социализму, а все, что говорят большевики, пустая болтовня. Для меня социализм не имеет смысла без фундаментальных социалистических ценностей: демократии, свободы и равенства, – так же, как морской берег нельзя представить без моря.

МАРИЕНГОФ (*кивает в знак согласия*). Обещание, которое содержится в «Интернационале», насчет того, что «кто был ничем, тот станет всем», сбылось в такой форме: кто был всем, теперь стал ничем. Таков реальный, неопровержимый результат Октябрьского переворота.

ЕСЕНИН. И все же картина, пускай она и не слишком радостна, однако не столь однозначна: ведь некоторые партийные шишки, которые заслуживали виселицы, действительно стали всем. Большевики заняли позиции двух самых привилегированных слоев прежнего строя: помещиков и высших чиновников, — и теперь эти кровопийцы и мерзавцы сидят на шее своих подданных...

МАРИЕНГОФ. В то время как над всем царят голод и террор, а зимой к ним добавляется еще и холод. И за нищету и убожество ответственны, конечно, гражданская война, белогвардейцы, ну, еще засуха...

ЕСЕНИН. Хотя главная причина тут – продразверстка. Землю мужику отдали, а урожай отбирают весь, до последнего зернышка.

МАРИЕНГОФ. И если ты недостаточно ловок, то остаешься ни с чем.

ЕСЕНИН. Милый мой Толя, я считаю, здесь ты выразился очень, очень мягко. В точном смысле слова ситуация наша – катастрофическая. Мы рушимся в бездонную пропасть... (*Горько.*) Но – выше голову, дружище, близятся выборы. Уж теперь-то мы сумеем решить, что нам выбрать: тюрьму, расстрел или «товарища» имярек?..

Бессмертная народная музыка становится громче

Конец третьего действия

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Место действия: Москва, Балашовский особняк; осень 1921 года

В одном из залов Балашовского особняка беседуют Айседора Дункан (увядающая – ей 44 года – красавица) в кирпично-красном платье, Анатолий Мариенгоф и Александр Кусиков (25 лет). Дункан, естественно, говорит с иностранным акцентом. Мужчины сидят; танцовщица же время от времени вскакивает и расхаживает по залу.

ДУНКАН. Знаете, чего бы мне больше всего хотелось? О чем я мечтаю? Собрать вокруг себя детишек со всего мира: черных, белых, желтых, краснокожих. И чтобы все они взяли за руки и образовали огромный хоровод. И под ногами у них вырастали бы чудесные цветы, цветы радости, цветы братства!

КУСИКОВ. Какая благородная мечта... Не хочу тебя обидеть, милая Айседора, но не уверен, что в наше время дети вообще нуждаются в уроках танца.

МАРИЕНГОФ. Миллионы людей живут на грани голодной смерти.

ДУНКАН. Товарищ Луначарский откровенно говорил мне, что страна находится в критическом состоянии. И я знаю, что Ленин обратился с воззванием к трудящимся промышленно развитых стран, чтобы они помогли Советской России... Я постараюсь использовать всю свою известность, все свои связи, чтобы участвовать в этом... Ведь солидарность с теми, кто страдает, – нравственный долг каждого!

Дверь вдруг распахивается, входит Есенин; видно, что он выпивши.

ЕСЕНИН (*увидев Дункан*). А, всемирно известная американская танцовщица!.. Феерически обновившая танцевальное искусство XX века! Прямиком из Нового света! (*Потом насмешиливо цитирует высказывание, прочитанное в какой-то газете.*) Чье «гениальное тело опалает нас пламенем славы».

ДУНКАН (*протягивает руку Есенину*). Я – Айседора Дункан... И – да, «прямиком» из Парижа. Приехала в Советскую Россию по приглашению наркома просвещения товарища Луначарского. Собираюсь открыть здесь, в Москве, школу танца...

Есенин и Дункан пожимают друг другу руки

ЕСЕНИН. Рад знакомству. Сергей Есенин.

ДУНКАН. Я тоже искренне рада.

Есенин здоровается с остальными.

ДУНКАН. Да, да, я слышала. Величайший поэт России. Я считаю, нам надо перейти на «ты»; потом выпьем на брудершафт, от рюмки крепкого я никогда не отказываюсь... Твое фото я видела много раз. И, конечно, много, очень много слышала о тебе, о «скандальном гусле России»...В самом деле, глаза у тебя – как васильки во ржи. Я так ждала этой встречи! Обожаю гениальных анфантерриблей...

ЕСЕНИН. Да уж что скрывать, разговоров обо мне ходит много.

ДУНКАН. Чудесно... Тогда сейчас, по случаю нашей встречи, я буду танцевать для тебя, только для тебя. (*Мариенгофу.*) Анатолий, будь добр, поставь пластинку!

МАРИЕНГОФ. Шопена? Или Чайковского?

ДУНКАН. На сей раз лучше Моцарта. Моцарта! Чей дивный шедевр, симфония до мажор, верите или нет, воскрешает во мне золотые воспоминания юности. Оживляет и возвращает молодость... А я сейчас – как всегда, впрочем – хочу быть очаровательной и влекущей!

МАРИЕНГОФ. Твое желание – закон, милая Айседора!. Пускай же звучит симфония до мажор «Юпитер».

Мариенгоф ставит пластинку. Пока Дункан танцует, босая, под музыку Моцарта, Есенин шумно разговаривает о чем-то с Кусиковым (импровизация), то и дело поднимая бокал. Танцовщица в какой-то момент подбегает к граммофону и выключает его.

ДУНКАН. Мальчики, вы на меня даже не смотрите!

ЕСЕНИН (*высокомерно бросает Айседоре*). Если ты озябла, я знаю более надежный способ согреться...

Кусиков и Мариенгоф хохочут. Есенин снимает пиджак, сбрасывает ботинки. Делает Кусикову знак – и, под звуки балалайки, на которой играет Кусиков, пускается в стремительную казацкую пляску... Затем надевает ботинки, натягивает пиджак и собирается уходить. Однако танцовщица, аплодируя, загораживает ему дорогу; не переставая аплодировать, быстро говорит:

ДУНКАН. Вот это да, вот это чудо! Словно какая-нибудь сумасшедшая сцена из Вальпургиевой ночи! Это – Россия! Да, это Россия! И Есенин – силен, очень силен!

ЕСЕНИН (*он уже достаточно пьян; оттолкнув ее, выкрикивает*).
Иди ко всем чертям!

ДУНКАН Любовь по-русски!

ЕСЕНИН (*распахивая дверь, оборачивается к Дункан.*) Мы еще встретимся, а теперь мне пора... (*Снова оглядывается через плечо.*) До свиданья! (*Захлопнув за собой дверь, уходит*)

ДУНКАН (*вдогонку*). До свиданья!..

Конец четвертого действия

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ

Место действия: там же; январь 1922 года

Рассвет; Дункан (в neglige) и Есенин (в купальном халате) сидят, обнявшись, на постели.

ДУНКАН (*погрузив пальцы в шевелюру поэта; в другой ее руке — рюмка с остатками водки*). Золотая голова! Золотая голова! (*Покрывает поцелуями лицо Есенина: губы, нос, глаза; нежно бормочет.*) Ангел... ангел...

Допив водку, Дункан ставит рюмку на столик; затем гладит Есенину грудь, живот, покусывает губ; язык ее ищет дорогу между его сомкнутыми пухлыми губами. Есенин пытается уклониться от поцелуев, но хмельная женщина не оставляет попыток; тогда Есенин закатывает ей звонкую пощечину. Танцовщица обиженно отворачивается, зарывается головой в вышитую подушку и громко рыдает. Поэт хочет обнять ее за талию, но Дункан порывисто вскакивает на ноги.

ДУНКАН (*хохоча*). Дьявол! Дьявол в облике ангела! (*Подбегает к окну, распахивает его. В комнату врывается холодный ветер. Женщина высовывается в окно и принимается кричать.*) Сергей Есенин — свинья! Енисей... пардон, ах, пардон!.. Сергей Есенин — сиволапый мужик!

ЕСЕНИН. Ты с ума сошла. Перебудишь всех вокруг, ни свет ни заря. Да к тому же меня простудишь.

Есенин пытается оттащить ее от окна; Дункан, ухватившись за косяк, изо всех сил упирается. Под окном проезжает санная упряжка: «Динь-динь-динь — колокольчик звенит — зимний снег под полозьями хрустит».

ДУНКАН. А мне плевать. *(Внезапно оборачивается; лицо ее пылает.)* Да, пускай весь мир слышит: великий Сергей Есенин – дерьмо! Пускай все это знают. Ну и, конечно, пускай знают, что ты – гений, истинный гений! Такой гений, что сдохнуть можно! Такой гений, что скоро захлебнешься в своей поганой гениальности! Что ты на это скажешь, дьявол мой в ангельском облике?

ЕСЕНИН *(короткая пауза; прежде чем ответить, закрывает окно)*. А то скажу, что ты, хоть и дама, пьешь, как извозчик...

ДУНКАН. И это ты говоришь, ты, будто сам знаешь меру... *(Бросается на шею поэту, едва не задушив его поцелуями; она плачет и хохочет одновременно.)* Ты такой же, как я, бедный мой Сергей. Мы из одного теста сделаны! Ты – гений, ты хлещешь водку, ты не знаешь, откуда пришел и куда идешь...

ЕСЕНИН. Вот что, милая, послушай меня! *(В словах его звучит боль.)* Мне все равно скоро конец... Никакой радости нет у меня в этой жизни. Я такой... такой несчастный! *(Тяжелая тишина.)* И все же – откуда у меня столько врагов, чего они все от меня хотят? Откуда эта злоба? Ведь я так старался делать то, что хотели от меня большевики... И, поверь, очень стыжусь этого! *(Через некоторое время.)* Ну, скажи, неужто я такой человек, который ничего, кроме ненависти, не заслуживает?!

ДУНКАН. Видишь ли... Если общество складывается из людей серых, ограниченных – в этом смысле один черт, о буржуях или о большевиках идет речь, – то, конечно, оно с непониманием, с подозрением, даже

враждебно относится к чудаку, к гению, смотрит на него как на ненормального.

ЕСЕНИН (*задумчиво*). И тогда серая масса, заурядные человечки подминают, уничтожают того, кто на них не похож ... (*Машет рукой; у него вырывается горький вздох.*) Ладно... Оставим это! (*Тишина. Он отыскивает в кармане брюк портсигар, закуривает.*)

ДУНКАН. И мне!

ЕСЕНИН. Ой, прости! У меня – «Мозаика».

ДУНКАН. Давай, это моя любимая отравка!

Тишина. Есенин протягивает женщине портсигар, та вынимает папиросу, поэт дает ей прикурить. Они садятся на постель и продолжают диалог.

ЕСЕНИН. Большевики забыли о роли Бога в литературе, и это их роковая ошибка.

ДУНКАН. Большевики правы. Бога нет.

ЕСЕНИН. Что ты такое говоришь, Айседора! Все – от Бога. И поэзия, и твои танцы.

ДУНКАН. Сказки, сказки это все. Мой Бог – Красота и Любовь. Другого Бога нет. А ты почему думаешь, что есть?

ЕСЕНИН А почему ты считаешь, что нет?!

ДУНКАН. Люди выдумывают себе богов для того, чтобы было кого бояться. Это еще древние греки знали, тысячи лет назад. И, конечно, наша религия – с преисподней, с царством небесным — строится на пустых поверьях, все это – выдумки, все это – ханжеский фарс.

ЕСЕНИН. Про танцоров-комиков я слышал, а вот что бывают танцоры-философы – не знал.

ДУНКАН. Что ж, теперь знаешь!.. (*Затянувшееся молчание; женщина собирается с мыслями.*)

ЕСЕНИН (*прервав тишину*). Ну, говори же, бестия!

ДУНКАН. Вот как? «Бестия»?... Ну, тогда слушай внимательно! Еще дома, в Сан-Франциско, где за несколько лет до меня родился автор «Зова предков», мой кумир, великолепный Джек Лондон, – словом, еще в старом добром Фриско, который до землетрясения был для нашего поколения символом романтики и тепла, в одной из комнат родительского дома, на старинном платяном шкафу, я нашла шляпную коробку. Я стерла с нее толстый слой пыли, открыла – и вдруг увидела, что по стенке коробки бежит огромный паук... Я так испугалась, что сняла с ноги туфлю и одним ударом убила его. Всего один миг!.. Потом подумала: а что, может, этот паук-неудачник родился в этой самой коробке и жил в ней много лет? Это был его дом, его непроницаемо-черное, пыльное мироздание... Паук жил в своем мире, не догадываясь, что его мир – это шляпная коробка в доме какой-то Айседоры Дункан. И вот в его мироздание ворвалась, словно молния, какая-то непонятная, никогда не виданная, страшная вещь. И – все кончилось, наступила смерть! Этой великой, неведомой силой, которая неожиданно стала причиной смерти, – стала я... Вполне возможно, нечто подобное люди и зовут Богом. Может, мы тоже живем в такой шляпной коробке...

ЕСЕНИН. Слушаю, раскрыв рот. В самом деле: мысли, достойные философа. Поздравляю! Да еще после водки... Это, думаю, нелегко. Но в кантианстве тебя, сердце мое, заподозрить нельзя: кенигсбергский профессор был человек глубоко верующий.

ДУНКАН. А я, любимый мой, дарвинистка!

ЕСЕНИН. И ты все еще веришь большевикам, которые тебя сюда пригласили? Ты не замечаешь, ты просто не хочешь замечать, что главный принцип их политики – угроза, а потом расстрел! Стоит только им

заметить, что какой-то несчастный хоть чуть-чуть посмел с ними не согласиться, его тут же, в ту же минуту объявляют врагом народа. И прежде чем обвиняемый успеет что-то сказать в свое оправдание, приговор готов. Человеческая жизнь стоит копейки... «Че-Ка»: эти два слога дети заучивают раньше, чем слово «мама»: ведь теперь их с колыбели пугают не буквой, а этими гиенами...

ДУНКАН. В безоблачном девичестве моем я столько мечтала о том, чтобы разрушить устои буржуазного общества и построить новое общество, социалистическое... Понимаешь?

ЕСЕНИН (*с сарказмом*). Еще бы не понять! Но ты ведь только что лепетала что-то насчет тепла и романтики.

ДУНКАН. Ну да, я обожала наш старый добрый Фриско; но не капиталистов, которых интересуют в первую очередь деньги, потом снова деньги и опять деньги. Терпеть не могу буржуазный, капиталистический строй, меня от него просто тошнит!

ЕСЕНИН. В этом я с тобой согласен, капитализм тоже – довольно мерзкая штука. Но ведь... это не все равно, по колено или по пояс ты бредешь в дерьме... Или, тем более, если оно накроет тебя с головой ... Ей-богу, не все равно!

ДУНКАН. Маркс в «Капитале» пишет, что время «экспроприации экспроприаторов» придет закономерно и неизбежно.

ЕСЕНИН. Не читал я, какие бы ветры ни дули, эту книгу. Ах, как мне стыдно!..

ДУНКАН. Стыдно или не стыдно, я тоже не могу сказать, что прочла ее от корки до корки. Заглянула в середину – и утомилась. Но суть в том, что в октябре 17-го здесь, в России, наступил, наконец, этот исключительный момент, пришло время «экспроприации экспроприаторов».

ЕСЕНИН. А что сейчас делается, этого ты, конечно, не видишь. Когда же у тебя пелена спадет с глаз?! Пойми, наконец: то, что здесь творится, ничего общего не имеет с красивой теорией, придуманной Марксом, оно расходится даже с большевистской пропагандой. И никакого отношения не имеет к социализму, это факт! От тех, кто захватил власть в России, ты не услышишь ни одного правдивого слова. *(Говорит медленно и весомо.)* Утопические обещания и жестокий массовый террор – вот суть их практики, их политики...

Конец пятого действия

ДЕЙСТВИЕ ШЕСТОЕ

Место действия: московская квартира Александра Кусикова; весна 1922 года

Есенин и Кусиков сидят за шахматным столиком, между ними — доска с фигурами. С граммофонной пластинки звучит божественный голос Шаляпина.

ЕСЕНИН. Как же мне все надоело! Уехать бы куда-нибудь... куда угодно, лишь бы подальше; сам не знаю, куда. В тридевятое царство... А бывает, что хочется уйти в себя, в прежний, полный тайн мир... Да, вернуться бы домой, вновь увидеть рязанские болота, Константиново, деревню, березовые рощи, в которых когда-то бродил босиком. Слушать посвист ветра, который приподымает ветки берез, как юбки у девок... Гм... Да ведь тех ласковых рощ, пожалуй, нету уже ... Ах, друг мой, знал бы ты, какая тоска иной раз наваливается на мою бедную душу.

КУСИКОВ. А почему бы тебе в самом деле не вернуться в Константиново? Посетить прежние края, места детства?

ЕСЕНИН. Полно, что я там увижу? Мужиков с нищенской сумой? Землю, которая придавлена асфальтом и железом? Индустриализированные поля? (*Сидит, молча погрузившись в себя.*) Нет уж, спасибо, тогда мне больше радости от московских трактиров и борделей. Тут я хоть пить могу... и грустно петь о моей дорогой России, по которой катится ржавый вал тоски горючей.

С улицы доносятся автомобильные гудки. Пауза.

ЕСЕНИН. И, ты же знаешь, сестры мои тоже теперь в Москве... Только вот матушки, дорогой, единственной моей матушки несказанно мне не хватает, так что скоро я все-таки, наверное, съезжу домой.

КУСИКОВ. А что с Айседорой? Говорят, ты поедешь с ней?..

ЕСЕНИН. Она во что бы то ни стало хочет добиться, чтобы везде, где она танцует – в «гигантских метрополиях» Западной Европы и Соединенных Штатов, – там и я выступал со своими стихами. Она твердит, и я все больше верю ей, что слово поэта и танец создают такое гармоническое сочетание... что-то такое, что весь мир будет покорен...

КУСИКОВ. Дай-то бог!

ЕСЕНИН. Я хочу, чтобы все человечество обратило на нас внимание...

КУСИКОВ. В одном можешь не сомневаться: как Шаляпин родился певцом, так ты родился поэтом, дружище!

ЕСЕНИН (*немного помолчав*). То, что ты говоришь, – настоящий бальзам на мое сердце...

КУСИКОВ. Доброе слово обходится дешево, а стоит дорого.

ЕСЕНИН. Честное слово, так приятно это слышать!

КУСИКОВ. И к тому же – чистая правда.

ЕСЕНИН. Одна загвоздка: если я не женюсь на Айседоре, мне отсюда не уехать.

КУСИКОВ. А ты сам-то разве не хочешь на ней жениться? Смотри, Айседора – не кто-нибудь, она – интеллигентная, элегантная женщина, ни капельки не мещанка – это я в самом хорошем смысле слова. Кому только может, помогает охотно; кроме того, она бесстрашна и свободна от всяких буржуазных предрассудков, да еще искренне верит в Россию, в русский народ...

ЕСЕНИН. И, к сожалению, верит кровавым большевикам.

КУСИКОВ Что верно, то верно. Но, несмотря на это, мне кажется, она – самая необыкновенная женщина, какую я когда-либо видел.

ЕСЕНИН (*несколько оживившись*). Полностью ты меня не убедил, зато я тебя – как Кутузов Наполеона – в конце концов разгромил... Мат! (*Медленно передвигает пешку на шахматной доске.*)

Музыка усиливается.

Конец шестого действия

ДЕЙСТВИЕ СЕДЬМОЕ

Место действия: лондонская квартира Лидии Кашиной; лето 1922 года.

Кашина в гостиной вытирает (тряпкой) пыль с мебели, с книг на полках и напевает русскую народную песню. Раздается стук в дверь, Кашина спешит открыть. В проеме двери – Есенин. Несколько мгновений оба не могут произнести ни слова. Потом горячо обнимаются; у Кашиной текут слезы.

КАШИНА (вытирая слезы). Сергей, Сережа... Это же просто чудо! Как ты здесь оказался?

ЕСЕНИН (оглядывает ее с ног до головы) Вот это да! Даже прекрасная Елена, царица Спарты, не выглядела более потрясающе!

КАШИНА (растроганно). Спасибо за комплимент! Но это еще не ответ на мой вопрос.

ЕСЕНИН (принюхиваясь). Ты все еще пользуешься духами с лавандой? (Входит в гостиную, закрывает за собой дверь.)

КАШИНА. Ну да... Но это опять-таки не ответ.

ЕСЕНИН. Ага... Так, с чего начать-то? (Короткая пауза; он мучительно подбирает слова.) Я женился (насмешливо) на всемирно известной танцовщице, Айседоре Дункан...

Они проходят вглубь комнаты.

КАШИНА (*перебивает его*). Знаю. Все газеты об этом писали, даже здесь, в Великобритании. И сообщали, что вы вместе отправились в турне по Западной Европе...

ЕСЕНИН. А потом еще в Америку поплывем.

КАШИНА. Да, я читала. Но как ты узнал мой адрес?

ЕСЕНИН. Перед этим турне, перед нашей маленькой Одиссеей, я заскочил в Константиново, там и узнал твой адрес, случайно, у нашего мельника. Ты ему писала какое-то письмо, уже отсюда, из Лондона. И мне удалось на пару дней сбежать от Айседоры... Она сейчас в Париже. Я в Лондон прибыл вчера вечером, остановился у подруги Айседоры.

КАШИНА. Где это?

Они останавливаются в середине комнаты, под люстрой.

ЕСЕНИН. В каком-то переулке, недалеко от собора Святого Павла, – я его издали узнал, благодаря Каналетто. Вообще-то наш Исакий мне больше нравится.

КАШИНА (*с улыбкой*). Вот он, здоровый патриотизм.

ЕСЕНИН. Хотя для меня апостол Павел — святой из святых. Но я хотел сказать, что – благодаря этой барочной достопримечательности – легко нашел дорогу к своим здешним хозяевам. Эти холодные англичане и не подумали меня встретить; правда, их можно понять: они лишь приблизительно знали, когда я прибуду. К ним я добирался пешком. Я и сюда собрался было прийти на своих двоих, но потом (*на лице у него появляется улыбка*) на Виа Аппиа... то есть, я хочу сказать, на Пикадилли, все-таки сел в такси.

КАШИНА. Ты спросишь, почему я тебе не писала? Не хотела навлекать на тебя лишние неприятности. Но сейчас я невероятно счастлива! Пять лет... Я ведь правильно считаю, мой Лоэнгрин?

ЕСЕНИН. Да, в последний раз мы виделись летом 17-го, вскоре после того, как скончался мой горячо любимый друг, светоч моей жизни, Гриша Панфилов... От чахотки.

КАШИНА. Я помню, как ты горевал... Да ты садись! (*Показывает на стул возле стола.*) А я быстренько приготовлю что-нибудь перекусить. И выпивку принесу. У меня дома есть великолепное красное вино...

ЕСЕНИН. Красное? Вот где у меня это красное... (*Делает красноречивый жест.*) Сыт по горло... Но если серьезно, не хочется мне выпивать сегодня, да и есть я не хочу. Может, потом... Хозяева мои накормили меня обедом, и я выпил несколько чашек чая — без рома! Муж этой женщины сносно говорит на нашем замечательном языке: он какое-то время работал в Москве. За чаем мы с ним поболтали. Да, и по дороге сюда я еще выпил двойной кофе, крепкий как не знаю что; так что кофе тоже не предлагай.

КАШИНА. Кофе ты и не проси, кофе мы не пьем, у нас и кофеварки нет. Зато в кухне у нас красуются два самовара, мы их привезли из нашей милой Москвы. Чего ты не садишься?!

Короткая пауза. Есенин садится на стул, сумку свою кладет на стол.

КАШИНА. Родители твои как?

ЕСЕНИН. Надеюсь, что если и не прекрасно, то все же терпимо. С тех пор, как мы отправились в турне, то есть с середины мая, у меня никаких вестей из дома. Каждый месяц посылаю им продуктовые посылки... Хочется думать, что они их получают!

КАШИНА (*тоже присаживается к столу*). Я слышу в твоих словах тревогу... В здешних эмигрантских кругах, а тут есть достаточно осведомленные люди, ходили слухи, что в конце 17-го года ты женился и у тебя родились двое детей.

ЕСЕНИН. Да, Татьяна и Константин. Ох, как хотелось бы мне их обнять! (*Короткое молчание.*) Ну, а с вами что, вы-то как тут живете? Рассказывай! Я знаю, муж твой погиб в 18-м, когда они пытались захватить Смольный... Царство ему небесное!

КАШИНА (*кивает*). А я после этого посчитала за лучшее уехать из России: боялась за маму, за детей. И, конечно, своей жизнью тоже не очень хотелось рисковать. Ни к чему мне террор, ни один из его вариантов: ни белый, ни красный! (*Через некоторое время.*) Долго я грустила, что не удалось попрощаться с тобой, но что поделаешь, пришлось торопиться, большевики лишали богатых не только состояния, но очень часто – и жизни...

ЕСЕНИН. Не только богатых...

КАШИНА. Потому и не писала: как я уже сказала, не хотела привлекать к тебе внимание: ведь переписка с «беглой буржуйкой»...

ЕСЕНИН. А что касается меня, я в 17-м душой и телом был на стороне Ленина...

КАШИНА (*доброжелательно прерывает его*). Понятно, ведь тогда – цитируя Пастернака – «вместе с людьми митинговали и ораторствовали дороги, деревья и звезды».

ЕСЕНИН. Точно, точно. Борис это великолепно выразил. В те дни воодушевление охватило всех, выросло почти до космических масштабов. Мы искренне верили в наступление нового, справедливого, свободного общества, в котором не будет ни помещиков, ни царских чиновников, ни эксплуатации трудящихся... Революция казалась искуплением, благом для страны, потому что Николай II и его правительство все развалили, все испохабили...

КАШИНА. А империей, которая трещала по всем швам, управлял из-за кулис Григорий Распутин, гениальный шарлатан, подчинивший своей

воле царскую семью; он же во многом путал и нити международной политики...

ЕСЕНИН. Некоторые и хотят все взвалить на него одного. Особенно, конечно, клан Романовых, среди которых были и хладнокровные убийцы Распутина. Несомненно, он был крайне неоднозначной личностью; но – это я знаю из надежного источника – он решительно противился вступлению России в войну, потому что ненавидел любое кровопролитие.

КАШИНА. Во всяком случае, в русскую историю он вошел как демоническая фигура. Ведь он, простой, темный мужик, не только царице замутил голову, но, как говорят, и самому царю.

ЕСЕНИН. Но что касается войны, тут царь-батюшка, увы, не послушал Распутина. Тут им овладела преступная глупость.

КАШИНА. Интересно, что с ним сейчас, с нашим Николаем, и с его семьей?

ЕСЕНИН. Трудный вопрос... По-моему, царя казнили.

КАШИНА. А что могло случиться с царицей, царевичем и чудесными царевнами? Где они сейчас... если живы, конечно, бедняжки?

ЕСЕНИН. Один Господь знает, где они и что они? Люди всякое говорят: например, что держат их в Грузии... или на том острове, в форме слезы, – на Цейлоне. Прежде и Сибирь поминали...

КАШИНА. Те из царской семьи, кто успел бежать на Запад, требуют международного расследования.

ЕСЕНИН. Ленин и его приспешники держат это дело, как и прочие свои зверства, под толстым покровом тайны и лжи. Ну, ничего, рано или поздно истина выйдет на свет Божий.

КАШИНА. Да, да...

ЕСЕНИН. Сегодня-то мне понятно уже: большевизм потому победил так легко, почти без сопротивления, и мы потому оказались на стороне революции, с закрытыми глазами прыгнув в пропасть, что большевики

обещали утопию: все и всем и немедленно... Какой-то испанский философ, помнится, писал: лик истины грозен, а потому народу необходимы мифы, иллюзии, народу нужно, чтобы его постоянно обманывали. Ибо правда ужасна, невыносима, правда — это сама смерть...

КАШИНА. Какие глубокие мысли...

ЕСЕНИН. Большевики обещали людям мир, землю, хлеб. Реальность же оказалась другой: новая война, продразверстка, голод. И – невероятных масштабов террор, основная идея которого: убивать – чтобы сломить волю тех, кто остался в живых...

КАШИНА (*голос ее полон скорби*). А еще говорят, там убивают детей, чтобы есть их; у иных мясников на крючьях висят детские тела... Да, сейчас я вспоминаю: эти вещи, от которых кровь стынет в жилах, писал мне из Нижнего Новгорода бывший друг моего покойного отца.

ЕСЕНИН. Эх, черт побери, и эти страшные вещи он писал тебе из родного города нашего писателя Горького! Гм... Что сказать? Этого я, всех этих ужасов... этому я не хочу верить... Надеюсь, это всего лишь идиотские слухи. Конечно, то, что масса людей умерла от голода, нынче уже всем известно. Хотя официальные органы, люди, в руках которых власть, молчат, словно воды в рот набрав.

КАШИНА. И их можно понять. Разумеется, они не хотят выставять на показ свои злодеяния, держат свои черные дела про себя!

ЕСЕНИН. А прессе заткнули рот... Смертельная болезнь Блока тоже, по всей вероятности, вызвана голоданием.

КАШИНА. Ничего удивительного... Ослабевший, не получающий должного питания организм легко поддается любому страшному недугу.

ЕСЕНИН. Какое ужасное время! Но у нас, среди нашей родни, в семье – в том числе благодаря Айседоре – голод, если и есть, то скорее в плане качества продуктов. В питье же нет недостатка...

КАШИНА. Жена твоя, должно быть, пользуется большими привилегиями...

ЕСЕНИН. А на меня, представь себе, легло подозрение в «буржуазном уклоне»... Я должен угождать им, должен писать стихи, рисующие Ленина и красный режим в позитивных красках, иначе меня ждут преследования. В прошлом году, летом, был арестован Гумилев, его обвинили в симпатиях к монархии.

КАШИНА. В самом деле?!

ЕСЕНИН. Наверное, уже и казнили.

КАШИНА. Звери!

ЕСЕНИН. Одного из немногих настоящих поэтов...

КАШИНА. Его жена, Анна Ахматова, тоже не кто-нибудь...

ЕСЕНИН. Они еще в 18-м году развелись... Но ты правильно говоришь, она тоже невероятно талантлива... как и Цветаева.

КАШИНА. О, дорогая, дорогая Марина Цветаева, с ее высоким московским самосознанием... Когда-то они жили в Трехпрудном переулке... Недавно мне напомнили о ней удивительные кувшинки Клода Моне — его выставка была здесь, в Сохо.

ЕСЕНИН. Здорово, здорово! Твои ассоциации выдают поэтическую душу. Среди нынешних я еще Мандельштама ценю по-настоящему высоко. В сентябре прошлого года я был в Петрограде и встретился с ним, совершенно случайно, на Невском проспекте; потом мы вместе пошли в Дом Искусств. По дороге он доказывал мне, что даже в эти страшные времена следует стремиться к разумной жизни, иначе мы превратимся в чудовищ. Великий человек.

КАШИНА. Надеюсь, его не арестовали с тех пор?

ЕСЕНИН. Нет... То есть я ничего такого не слышал... Но Осип — человек безоглядно смелый.

КАШИНА. То же самое можно сказать о тебе.

ЕСЕНИН. Ради достойной человеческой жизни... и помня о своих близких, я, как уже сказал, заключил компромисс. Попросту говоря, то есть если ничего не приукрашивать: покорился силе... И те вещи, которые я пишу сейчас – самые слабые произведения в моем творчестве; правы критики, они это удивительно точно видят: когда я пишу о советской власти, моя лирика делается натужной. Перо ведь свое обмануть невозможно! Стыд жжет меня как Бог знает что... Но об эмиграции и речи не может быть. И не только потому, что вне России – как я убедился – нигде, нигде я не могу рассчитывать на понимание и подлинное признание. Нет! Но прежде всего потому, что я смертельно люблю родину...

КАШИНА. Я бы тоже вернулась домой, поверь! Только это сейчас равнозначно самоубийству. Ты знаешь, тоска по родине – это профессия, причем характерно русская профессия... (*Элегическим тоном.*) Я часто хожу с детьми в гавань – возможно, они и сейчас с моей мамой как раз там – и со слезами на глазах смотрю на русские корабли. И, едва не плача, завожу иной раз разговор с каким-нибудь матросом или капитаном... Спрашивала я и про тебя, ведь тебя дома все знают... Я иногда мечтаю: вот если в какое-нибудь обозримое время прогонят большевиков, и я снова увижу Москву... и Рязань... и Константиново... Здесь наш удел – быть чужими: мы с кровоточащим сердцем существуем в мире, который ни языком своим, ни памятью, ни традициями, ни кухней не был питательной почвой нашего детства. Ах, как хорошо было бы вернуться домой! Здесь теряет смысл поговорка: с глаз долой – из сердца вон...

ЕСЕНИН. Ты слишком мягко выразилась, по-женски... Еще и трех месяцев нет, как мы приехали сюда, а меня уже истерзала тоска по родине. Ну и... если честно... очень угнетает, что я здесь – никто, я – всего лишь молодой русский муж знаменитой американской танцовщицы... Тьфу! Дома мне уже более или менее удалось взять себя в руки, а здесь, к сожалению, я снова пью, причем все больше и больше... Сегодня, сейчас я

не пьян, может быть, только из-за тебя... Когда пьешь, без скандала редко обходится.

КАШИНА. В газетах писали: тебя хотят выдворить из Франции...

ЕСЕНИН. Черт побери! Даже здесь, в туманном Альбионе, об этом знают?!

КАШИНА. ...и что во многих гостиницах, сердце мое, даже в изысканно-элегантном отеле «Бельвю» ты что-то бил и крушил...

ЕСЕНИН. Если выпью больше положенного, не могу с собой справиться; и даже думать не очень способен. Просто-напросто теряю голову.

КАШИНА. «Я похабничал и скандалил для того, чтобы ярче гореть», — так ты пишешь с одним из своих стихотворений; вообще-то говоря, пардон, не слишком убедительно. Разумеется, я прекрасно понимаю, ты — натура лирическая, ты быстро вспыхиваешь, ты готов щедро тратить сокровища своей души... Ну, и то, что творится дома...

ЕСЕНИН (*лукаво*). Но, как мы уже выяснили, за границей жизнь тоже не сахар, и некоторые здесь живут «с кровоточащим сердцем»... Ну-ка, чьи слова я привел?

КАШИНА. Память у тебя — просто невероятная... Только все равно, не забывай следить за собой! А насчет того, что поэзия твоя не нашла пока настоящего отклика за границей, не сожалею ни минуты... Пускай об этом у тебя душа не болит. Твои изысканные, и притом с невиданной естественностью написанные, удивительные стихи исключительно трудно перевести достойно... Читала я несколько твоих стихотворений, переведенных на английский. Что сказать? Они даже не приближаются к оригиналу; некоторые кажутся неумелыми, неуклюжими, хотя напечатали их в солидном журнале — «Критерионе» Элиота... Но предположим, что переводы безукоризненны, — все равно должны пройти годы, пока твое творчество станет широко известным.

ЕСЕНИН. Как приятно слушать тебя! Шелк твоего голоса — даже независимо от смысла — бальзам на мое израненное сердце... Я привез тебе несколько своих сборников, которые изданы недавно. (*Вынимает из сумки книжки.*)

КАШИНА. Ты посмотри на полку! (*Показывает.*) «Радуница», «Голубень», «Преображение», «Трерядница», «Пугачев», «Исповедь хулигана»... У меня все твои книги есть; иногда найти их было ох как нелегко... Но я, конечно, очень, очень благодарна за то, что ты мне их привез! (*Небольшая пауза. Кашина открывает одну из подаренных книг и читает вслух посвящение.*) «Лидии Ивановне Кашиной, первой и самой большой любви моей жизни, в память о нашей юности»; подпись: Сергей Есенин. (*После некоторого молчания.*) Ах, какая же я счастливая! Еще раз скажу: огромное, огромное спасибо! (*Целует поэта в лоб; несколько мгновений тишины.*) Помнишь — ну, конечно, ты помнишь, — когда-то мы вместе мечтали о славе? Тогда мы еще не знали, что такое война, не думали о смерти; слыхом не слыхивали ни о Керенском, ни о Ленине, ни о Троцком. Ни о... как бишь его зовут, нынешнего генерального секретаря большевистской партии?

ЕСЕНИН. Сталин. Иосиф Виссарионович Сталин, настоящее имя — Джугашвили.

КАШИНА. Стало быть, из грузин?

ЕСЕНИН. Да. Наш новый, «стальной» вождь родился в грузинской крестьянской семье... Сможет ли он повернуть дела в нужном направлении?.. О, да что я говорю, я ведь сегодня не выпил еще ни капли, ни капли алкоголя.

КАШИНА. Иной раз и на трезвую голову люди говорят Бог знает что.

ЕСЕНИН. Что ж, тогда продолжу в том же духе: сможет ли этот «стальной» вождь повести дела в правильном направлении, и захочет ли вообще попытаться? Это скрыто в тумане будущего. До сих пор он был

наркомом по делам национальностей, но я мало что о нем слышал... Ленин, говорят, тяжело болен.

КАШИНА. Бог, если уж хочет кого наказать... Ну, что бы ни происходило и не происходит в России, славы ты достиг: как поэт ты – на вершине вершин, вся Россия тебя знает; сам Горький назвал тебя величайшим русским поэтом после Пушкина.

ЕСЕНИН. Вершина славы обагрена кровью...

КАШИНА. Многие твои стихи я знаю наизусть. Кроме неповторимого «Не бродить, не мять в кустах багряных», я больше всего люблю «Письмо матери». Может быть, потому, что я тоже без памяти люблю свою матушку; а вместе с тем я и сама — беспокойная мать... *(Ее прекрасное, словно из мрамора изваянное тело вытягивается; полузакрыв лучистые глаза, она декламирует стихотворение.)*

Ты жива еще, моя старушка?
Жив и я. Привет тебе, привет!
Пусть струится над твоей избушкой
Тот вечерний несказанный свет.

Пишут мне, что ты, тая тревогу,
Загрустила шибко обо мне,
Что ты часто ходишь на дорогу
В старомодном ветхом шушуне.

И тебе в вечернем синем мраке
Часто видится одно и то ж:
Будто кто-то мне в кабацкой драке
Саданул под сердце финский нож.

Ничего, родная! Успокойся.
Это только тягостная бредь.
Не такой уж горький я пропойца,
Чтоб, тебя не видя, умереть.

Я по-прежнему такой же нежный
И мечтаю только лишь о том,
Чтоб скорее от тоски мятежной
Воротиться в низенький наш дом.

Я вернусь, когда раскинет ветви
По-весеннему наш белый сад.
Только ты меня уж на рассвете
Не буди, как восемь лет назад.

Не буди того, что отмечталось,
Не волнуй того, что не сбылось, —
Слишком раннюю утрату и усталость
Испытать мне в жизни привелось.

И молиться не учи меня. Не надо!
К старому возврата больше нет.
Ты одна мне помощь и отрада,
Ты одна мне несказанный свет.

Так забудь же про свою тревогу,
Не грусти так шибко обо мне.
Не ходи так часто на дорогу
В старомодном ветхом шушуне.

Долгая тишина. Кашина вытирает слезы.

ЕСЕНИН (*нарушив молчание*). Ангел пролетел... Как чудесно, без единой ошибки ты это прочла!

КАШИНА. Спасибо.

ЕСЕНИН. В моей душе любовь к матери – самое глубокое из чувств. Ее – если позволено будет такое сказать – я люблю даже больше, чем детей своих!

КАШИНА. А я вот не могу сделать подобное различие: я всех троих люблю одинаково безгранично. (*Встает со стула.*)

ЕСЕНИН. «Безгранично»... Какое прекрасное выражение ... Но самое прекрасное слово – это, конечно, «люблю».

КАШИНА. Кроме них, у меня нет никого... Ну, хорошо, я сейчас в самом деле приготовлю что-нибудь перекусить, что-нибудь вкусное. А потом мы продолжим беседу. Мама и дети – они тоже, ах, как они будут рады тебе! (*Выглядывает в окно.*) Смеркается, так что они скоро должны вернуться. (*Уходит в кухню.*)

Конец седьмого действия

ДЕЙСТВИЕ ВОСЬМОЕ

Место действия: московская квартира Василия Качалова; осень 1923 года

Есенин (в петлице его пиджака — хризантема) и Качалов (стройный, подтянутый мужчина 48 лет) сидят на канapé с бокалами вина в руках; на столике перед канapé тарелка с легкой закуской. Тихо звучит русская народная музыка.

КАЧАЛОВ. А ты знаешь, Сергей, что у меня в жизни было примерно три тысячи женщин?

ЕСЕНИН. Врешь, Василий!

КАЧАЛОВ. Ну, ладно, пускай триста.

ЕСЕНИН. А если еще подумать?

КАЧАЛОВ. Хорошо, тогда — тридцать.

ЕСЕНИН. Вот, это уже другое дело.

КАЧАЛОВ. Но жене своей, старина, я никогда не изменял, не ходил налево, хотя мы уже пять лет... или больше?.. как вместе! *(После некоторой паузы.)* А у тебя-то как с Айседорой?

ЕСЕНИН. В Берлине мы порвали друг с другом... Но вскоре я понял, что не могу жить без нее! Она — прямо как настоящая русская баба. До мозга костей русская. Наша душа в ней живет, наше безумие...

КАЧАЛОВ. Знаешь, слушаю я тебя, а в голове у меня одна мысль: вот мне бы такую... такую... Как бы это сказать? погоди! На языке вертится... Такую... такую ядреную... Да, бабу! Ну вот, это простое слово все-таки выпорхнуло у меня изо рта. *(Краткая пантомима: Качалов машет рукой, словно пытается поймать мелькающую перед ним муху.)*

Ну, старина... я хотел сказать: дамочку, или нет... *(щелкает пальцами)*... ну, даму, леди...

ЕСЕНИН *(поддерживая его игру)*. Леди Макбет, что ли? Весь мир – театр, а для вас, актеров, уж точно... У тебя даже в такие мрачные времена хватает настроения, чтобы рассыпать искры остроумия. Я словно вижу над твоей взлохмаченной головой фейерверк юмора!

КАЧАЛОВ. Что ж мне, быть унылым и кислым, а, дружочек? Как ни печально наше положение, мы живем здесь и сейчас, приятель, это – наше время. А валять дурака, слава Талии, я умею, это у меня в крови! Да еще это великолепное токайское... *(Делает большой глоток.)* Дружище, такое вино мертвого подымет... В Москве, Мюнхене, Касабланке – так же, как в Пекине или Рио де Жанейро.

ЕСЕНИН. Один венгерский поклонник Айседоры прислал.

КАЧАЛОВ. Я очень чту эту маленькую страну – и, конечно, народ, который живет в ней. И вынуждают меня это сказать не только вкусовые рецепторы, о нет! На днях я прочитал, по-немецки, удивительную книгу их писателя, Дежё Костолани; в ней рассказывается о Нероне, а предисловие к роману написал сам Томас Манн.

ЕСЕНИН. Я много слышал от Айседоры про тамошнего поэта, по фамилии Ади. Дело в том, что первой большой любовью Айседоры был один венгерский актер – когда-то моя горячая кобылка танцевала и в волшебном Будапеште, – словом, венгерский жрец Талии восторгался стихами Ади и венгерскими народными песнями! Ах, если бы их перевели на русский! Хотя бы несколько самых лучших народных песен. И пару стихотворений Ади.

КАЧАЛОВ. Ну, это не скоро произойдет... Зато у нас есть вот что! *(Высоко поднимает бокал.)* Это и переводить не надо. *(Пауза. Качалов нюхает вино, делает глоток, держит вино во рту, смакуя его; щелкает языком.)* Старина, какой дивный букет!.. *(Через некоторое время.)* Но

давай вернемся к Айседоре. Что говорить... только супруге моей смотри не проболтайся, – мне тоже очень кстати было бы такое неземное создание, под руку с которым я бы бродил по Елисейским полям... и она с воодушевлением водила бы меня по Монмартру, по Бродвею... Ладно, знаю, ты не очень высокого мнения о западной демократии...

ЕСЕНИН (*перебивает его*). Да, и о ней тоже!.. Но, разумеется, не демократия мне не по нраву, а тот факт, что у них в такой моде Господин Доллар, на искусство же они плевать хотели. У меня даже пропало настроение издавать свой сборник в Европе, хотя бумага и перевод там дешевы. Потому что это никому не нужно... (*Через некоторое время.*) Писать стихи – моя жизненная потребность, этому я отдаю всего себя... Ты ведь тоже артист, причем – король сцены, восседающий на колеснице Фесписа!

КАЧАЛОВ (*ухмыляется*). Спасибо... Заходи почаще!

ЕСЕНИН. Это не комплимент, это – чистая правда. Например, Тартюфа Шекспир написал словно специально для тебя... Я хочу сказать – Мольер...

КАЧАЛОВ (*вставляет*). Ну-ну...

ЕСЕНИН. ... Да и вот только что твой талант блеснул!.. Словом, ты можешь меня понять: если то, что я делаю, где-то не ценят, значит, это место, эти места и я не могу ценить по достоинству.

КАЧАЛОВ. Ясно, как солнечный день.

ЕСЕНИН. Самое яркое, или одно из самых ярких моих зарубежных впечатлений – лондонское свидание... Но об этом я тебе как-нибудь в другой раз расскажу. А сейчас не могу не вспомнить другое: день, когда я имел возможность наблюдать грандиозный поединок двух боксеров-тяжеловесов, Джека Демпси и Джина Танни. Это был бой за мировое первенство; он состоялся в Нью-Йорке, в Мэдисон Сквер Гарднер, в святилище бокса.

КАЧАЛОВ. Думаю, победил Джек Демпси...

ЕСЕНИН. Ошибаешься, дружище!

КАЧАЛОВ. О Демпси, о великом Джеке Демпси я слышал, но о втором...

ЕСЕНИН. Джин Танни.

КАЧАЛОВ. О нем – пока ни разу.

ЕСЕНИН. После пятнадцати раундов отчаянного противостояния судья поднял его руку, ему и достался пояс чемпиона.

КАЧАЛОВ. Век живи — век учись...

ЕСЕНИН. Вообще-то говоря, победа Танни, владеющего блестящей техникой, боксирующего с начала и до конца в отступлении, была огромным сюрпризом. Но он действительно был лучше!

КАЧАЛОВ. Я и не знал, что ты любишь кулачный бой.

ЕСЕНИН. Пушкин и Лермонтов тоже были в восторге от этого зрелища, а в Новом Свете писатель невероятного природного таланта, великий Джек Лондон, его просто обожал.

КАЧАЛОВ. О, йес; я что-то такое читал... Но твой восторг перед боксом для меня до сих пор был тайной. Об этом я не слышал, ни от тебя, ни от других. Ловко ты это скрывал, старина! А ведь сколько тысяч лет мы уже дружим!

ЕСЕНИН. То ли три, то ли четыре года... (*Короткая пауза.*) В детстве я был драчуном каких поискать. Среди ребят в деревне я всегда был заводила и самый отчаянный хулиган; вполне возможно, что у меня и к боксу оказался бы талант... (*Бьет кулаком в воздух.*)

КАЧАЛОВ. Знаю, что по натуре ты – человек, который, как говорится, не боится собственной тени.

ЕСЕНИН. О боксе еще добавлю лишь, что охотно посмотрел бы на матч-реванш Демпси и Танни... Но это, увы, невозможно. (*После продолжительной паузы.*) Отсюда, из Москвы, еще перед нашим

путешествием, казалось: Западная Европа и Соединенные Штаты – самый большой рынок для распространения наших поэтических идей. Но вот я вернулся, и теперь я твердо убежден в ином... Господи, как прекрасна и как богата с этой точки зрения Россия! Наша страна – родина поэзии. Думаю, нет другой такой страны, нет и не будет... (*У него вырывается тяжелый вздох.*) Вот если бы только большевики убрались отсюда, если бы какой-нибудь дьявольский вихрь вымел с нашей родины большевистское отребье!..

КАЧАЛОВ. Только вот беда: как все вредители, эти, я вижу, невероятно живучи. Правда, сейчас они вроде бы немножко отпустили вожи...

ЕСЕНИН. Факт, что продразверстку отменили, как и карточную систему. Снова появился рынок. Но надолго ли она, эта новая экономическая политика? Гм, так трудно быть в чем-либо уверенным, так трудно разобраться в том, что происходит. (*После небольшой паузы.*) Конечно, я не о царском режиме тоскую, когда народ столетиями жил в невыносимой нищете и невежестве; конечно, не нравится мне и узколобый материализм Запада. Но настоящий социализм, которым руководили бы мудрые, самые выдающиеся духом и характером аристократы, вот такой социализм – моя мечта. Такой социализм, а не его отвратительная пародия!

КАЧАЛОВ. У многих прекрасных планов выросли ноги, и они пошли по земле, или выросли крылья, и они взлетели, как, например, Икар, который считал, что человек способен летать. Вот только большевики на столетия преградили Утопии путь к человеческим пространствам...

В этот момент в комнату вбегает Джим, молодая овчарка Качалова, и устремляется прямо к Есенину.

КАЧАЛОВ (*собаке*). А, проснулся, лодырь?!

ЕСЕНИН (*с загоревшимися глазами*). Привет, Джим! Ко мне, дай лапу! (*Одной рукой обнимает Джима за шею, другой берет его лапу и разговаривает с ним, словно с хорошим другом.*) Давно я тебя не видел, чертов пес. Что за лапа, что за лапа!.. (*С восторгом разглядывает красивую, с умными глазами, собаку.*) Ах ты, собачья душа, а я тебе и не принес ничего.

КАЧАЛОВ (*Джиму*). Да, пес, токайского ты не получишь! Был бы ты венгерской легавой, все равно бы не получил.

ЕСЕНИН. Ему и без токайского весело... (*Джим радостно бежит от одного к другому, прядает ушами, виляет хвостом. Из всех сил пытается лизнуть Есенина в лицо, и несколько раз ему это удается. Поэт, увлеченный игрой, широко улыбается и бормочет.*) Оставь ты меня в покое, не хочу я с тобой целоваться!

КАЧАЛОВ. Джим чувствует, что ты любишь его.

ЕСЕНИН. Да, я очень люблю зверей... А на самом деле чувствую любовь и жалость ко всему живому в мире... Конечно, человеческая подлость очень даже способна вывести меня из равновесия... лишить радости.

КАЧАЛОВ. Как я вижу, ты первый в русской литературе так понимаешь братьев наших меньших и с такой любовью пишешь о них.

ЕСЕНИН. Вы меня с Джимом согрели и вдохновили – ну, и, конечно, токайское. Так что сегодня же напишу стихотворение и назову его, скажем, «Собаке Качалова». Приду домой и сразу займусь этим. (*Отпустив собаку, встает.*)

КАЧАЛОВ. Только чтобы шедевр был, а не те поделки, что ты сочинял про Советскую власть и про собаку Ленина!

ЕСЕНИН. Те стихи, как ты хорошо знаешь, были сделаны по принуждению...

КАЧАЛОВ. Конечно, конечно... Только ты ведь меня знаешь, я люблю гадости говорить...

Бесконечно прекрасная народная музыка усиливается.

Конец восьмого действия

ДЕЙСТВИЕ ДЕВЯТОЕ

Место действия: гостиница «Англетер» в Ленинграде, номер 5; ночь с 27-го на 28-е декабря 1925 года

Есенин и Николай Клюев (38 лет) сидят на диване.

ЕСЕНИН. Да, ты ведь, поди, и не знаешь, если только не прочитал в какой-нибудь газете: я окончательно порвал с Айседорой и женился на внучке Льва Толстого...

КЛЮЕВ. На Софье Андреевне, этой прелестной и действительно высокообразованной женщине, которая притом совсем не синий чулок? Еще бы мне об этом не знать. И сильно подозреваю, друг ты мой единственный, что ты уже и в ней успел разочароваться, иначе бы не торчал здесь, в городе на Неве.

ЕСЕНИН. В самую точку попал...

КЛЮЕВ. Я же тебя, Сереженька, знаю как облупленного.

ЕСЕНИН. Что скрывать, этот третий мой брак тоже оказался ошибкой. Все настолько было наполнено «великим старцем», его так много было всюду: на столах, в ящиках, на стенах и, пожалуй, даже на потолке, – что в квартире той, в Померанцевом переулке, для живого человека и места не оставалось. Но хуже всего было то, что посетители там не переводились... А для полноты картины добавлю еще, что Соня и я – совершенно разные люди, у нас разные интересы, разные взгляды на жизнь...

КЛЮЕВ. Уж коли зашла речь о бабах, то я, тоже для полноты картины, спросил бы еще: а как дела с Шаганэ Нерсесовной Тальян, армянской красавицей? С которой ты однажды, теплым, благоухающим ароматом шафрана вечером, познакомился в Батуме, и чьи тонкие руки,

как пара белых лебедей, бродили в золотом лесу твоих волос, пока, наконец, ты, по свидетельству одного из твоих писем, ну, и по тому сказочно прекрасному циклу стихов, не влюбился в нее до безумия. Как обстоит дело с армянской музой твоих «Персидских мотивов»?

ЕСЕНИН. Что там зря говорить, не могу я остановиться ни на одной женщине. Во всяком случае, до сих пор мне это не удавалось... (*Цитирует одно из своих стихотворений*) «Много женщин меня любило, да и сам я любил не одну...»

КЛЮЕВ (*продолжает цитату*). «Не от этого ль темная сила приучила меня к вину».

ЕСЕНИН. Смотри-ка, ты знаешь это стихотворение!

КЛЮЕВ. И считаю его одной из жемчужин нашей поэзии.

ЕСЕНИН. Приятно слышать это от тебя. Ведь ты был моим учителем, и остаешься им. Учитель! Какое слово! (*Небольшая пауза.*) Я тоже в восторге от твоих стихов.

КЛЮЕВ. Я и сам многому у тебя научился, Сереженька.

ЕСЕНИН (*задумавшись*). Наверное, мне бы надо было взять в жены мою тайную большую любовь, Лидию Кашину... А может, Галину Бениславскую... Эту последнюю ты ведь встречал?

КЛЮЕВ. И не однажды.

ЕСЕНИН. Она много лет помогала мне вести литературные дела...

КЛЮЕВ. И так старалась, что едва не стала твоей секретаршей. Или... (*Смолкает; пауза.*)... В самом деле, что с ней теперь?

ЕСЕНИН. Видишь ли... она любила меня самозабвенно, иногда даже одержимо; порой это действовало мне на нервы... Она пыталась наставить меня на путь истинный, отучить от пристрастия к выпивке. Но когда я женился на Софье Андреевне, она прервала все отношения со мной и просто исчезла.

КЛЮЕВ. Это уже и для нее был слишком сильный шок, этого она не вынесла...

ЕСЕНИН. Что верно, то верно.

КЛЮЕВ. Ну вот, опять я, выходит, попал в самую точку!

ЕСЕНИН. Айседору она еще кое-как мне простила... Утрата Гали мне тяжело далась. Я так многим обязан этой умной и глубоко чувствующей девушке. Но истина в том, что как женщина она меня не интересовала.

КЛЮЕВ. А ведь внешности она замечательной, прямо скажу: сексапильной.

ЕСЕНИН. Увы, я уже не могу тебя с ней познакомить... Но если хочешь, дам ее телефон, то есть телефон редакции, где она работает...

КЛЮЕВ (*перебивает его*). А, брось ты об этом!

ЕСЕНИН. Я твердо решил: здесь, в Петрограде, где я стал поэтом, начну новую жизнь.

КЛЮЕВ. Только вот в чем штука: после того как «отец» наш Ленин откинул копыта, город, в котором ты стал поэтом, переименовали в Ленинград.

ЕСЕНИН. Да-да, в самом деле, они сделали эту подлость.

КЛЮЕВ. Петр Великий наверняка перевернулся в гробу...

ЕСЕНИН. И все-таки я собираюсь здесь надолго осесть. Сюда переедут из Москвы и сестры мои, мои милые сестренки; скоро они придут. Снимем общее жилье, обставимся...

КЛЮЕВ. Трогает, как ты держишься за свою семью, как заботишься о сестрах.

ЕСЕНИН (*вздыхает*). Господи, каким я был дураком! В Москве – все время гости, гости, гости. Это была просто напасть: мне не давали работать. Какие только бездельники ни появлялись там, отрывая меня от дела... Даже Иван Рукавишников!

КЛЮЕВ. Слышал я, слышал: ты немного потаскал его за бороденку.

ЕСЕНИН. А зачем он пишет стихи? Точнее, бессмыслицу в виде стихов... Если у тебя таланта с гулькиным носом, не пиши!

КЛЮЕВ (*смеясь*). Или обрежь свою козлиную бороденку!

ЕСЕНИН. В общем, он получил от меня за дело. Потому что не давал мне работать.

КЛЮЕВ. А что еще больше усложняло твою жизнь, что делало ее совсем невыносимой, так это живая память автора «Войны и мира», чтоб его разорвало! Так?

ЕСЕНИН (*на губах у него появляется горькая улыбка*). Факт тот, что все эти бездельники ужасно хотели выпить со мной. А годы-то уходят... Да, где-то, кем-то сказано: двадцать дней пиши, десять дней пей кахетинское!..

КЛЮЕВ. Где же это? Я такого не читал.

ЕСЕНИН. Где-то было, не помню. В Москве, старина, все мои тридцать лет потрачены были на кахетинское: пили мы от души. Но теперь, наконец-то, я избавился от этой банды бездарных идиотов. Стыдно стало мне, жалко стало впустую растрачивать силы. Друзья-собутельники, конечно, будут по мне скучать, да и детей я буду видеть гораздо реже...

КЛЮЕВ. Как бишь ты писал в своем великолепном стихотворении – на днях я как раз читал его. (*Короткая пауза; Ключев морщит лоб, вспоминая.*) «...я одной тебе бы мог, воспитываясь в постоянстве, пропеть о сумерках дорог и уходящем хулиганстве». Но уж тогда иди по этому тернистому пути, не сворачивая!

ЕСЕНИН. Постараюсь... Хочу дать тебе «Черного человека»; я говорил как-то о нем. Почти три года ушли, пока я его закончил. До сего момента это – самое значительное мое произведение! (*Берет со стола листки рукописи и отдает их Ключеву.*)

КЛЮЕВ. Ага... Сейчас, только взгляну... (*Берет рукопись и читает вслух.*) «Друг мой, друг мой, я очень и очень болен. Сам не знаю, откуда взялась эта боль. То ли ветер свистит над пустым и безлюдным полем, то

ль, как рощу в сентябрь, осыпает мозги алкоголь...» Господи, просто за душу берет... *(Перелистывает скрепленные страницы рукописи.)* Довольно большая вещь...

ЕСЕНИН. Сто пятьдесят восемь строк.

КЛЮЕВ. Дома прочту не спеша, чтобы прочувствовать. *(Складывает рукопись и засовывает ее в карман.)*

ЕСЕНИН. Я буду очень ждать твоего мнения. Года три я с этим мучился. Да, когда требуется, у меня хватает и терпения, и должной усидчивости, должной заботы о том, чтобы все было как надо...

КЛЮЕВ. Понимаю, что ты имеешь в виду. Многие обвиняют тебя, что ты слишком легко пишешь. Ты, должно быть, часто слышишь незаслуженные упреки. После выхода «Москвы кабацкой», помню, тебя называли хулиганом, а твою поэзию – декадентской... Чушь это собачья, твое творчество исключительно многогранно, оно не терпит однозначных определений.

ЕСЕНИН. Конечно, есть умники, которые не только в «Москве кабацкой» видят «цветы зла», вредно влияющие на молодежь, но через такие же очки смотрят на все мое творчество... Да пускай они провалятся ко всем чертям! Я и в «Москве кабацкой» каждую строчку пропустил через сердце, каждую строчку выстрадал. И ни от одной строчки не откажусь. Как и от своих религиозных стихов! Все они будут включены в сборник избранного, который скоро должен выйти.

Доносится звук пароходного гудка; слышны злоеющие порывы ветра. Пауза.

КЛЮЕВ. И все же, друг мой ситный, мне определенно кажется, жизнь у тебя сейчас во всех смыслах налаживается. Вещи вроде бы сдвинулись в должном направлении, так что ты должен чувствовать себя более или менее спокойно...

ЕСЕНИН. Что отрицать, благодаря НЭП'у страна приходит в себя, встает на обе ноги. Вот и террор затихает... в какой-то мере. Если Господь захочет, все будет в порядке.

КЛЮЕВ. Господь, в своем абсолютном милосердии, позволил миру, с которым мы, люди, неразделимы, чтобы он, этот мир, существовал. Большого Господь дать не может...

ЕСЕНИН. Я не могу оспаривать то, во что можно только верить или не верить – не сердись, что перебил тебя! А точно знать ничего нельзя. Потому что догматы веры, как мудро заметил Кант, невозможно подтвердить или отвергнуть доводами разума...

КЛЮЕВ. Во всяком случае, если говорить кратко, уверенным можно быть вот в чем: Господа нельзя считать причастным к злодеяниям большевиков, как и вообще, ссылаясь на Него, объяснять или истолковывать любые ужасные события! Если кому-то придет в голову ссылаться в таких вопросах на Бога, то это – богохульство!

ЕСЕНИН. Полностью с тобой согласен, тут спорить не о чем.

КЛЮЕВ (*смотрит на часы*). Ну, что ж, мне пора... Напоследок расскажу тебе один любопытный случай. В Тюмени, на вокзале, открылся буфет, – это было в первые дни НЭП'а, – где без очереди и без карточек, как в старые времена, продавали белый хлеб, рыбу, свежее мясо, домашние соленья...

ЕСЕНИН (*удивленно вскидывает голову*). Да что ты говоришь?

КЛЮЕВ. Да-да... Я сначала подумал: белые вернулись. А хозяин буфета, когда я с изумлением стал его спрашивать: «Да неужто же мы до этого дожили?!», очень разумно и кратко объяснил мне суть дела: «Точно, дожили. Ленин взял, Ленин дал». Вот что ответил мне этот умный человек.

ЕСЕНИН. А еще казино открылись, кабаре, вот до чего дошло дело. Извозчики, шикарные авто появились, снова бросаются в глаза драгоценности, обувь хорошего качества, прекрасно пошитые платья...

Моя родная, любимая матушка, ох, как она обрадуется новой одежде, которую я нынче купил для нее! Конечно, я и за границей накупил своим близким всякой всячины...

КЛЮЕВ. Ну, в этом-то я был уверен.

ЕСЕНИН. Посылками я домой в основном продукты посылал, чтобы им полегче было жить.

КЛЮЕВ. Я на сто процентов уверен, милый мой, что юноши и девушки на Руси могут учиться у тебя любить Родину и родителей... *(Снова смотрит на часы.)* Ух ты, надо бежать; я на три часа заказал сюда извозчика, так что сам понимаешь! В общем, ухожу, чтобы извозчику не пришлось меня дожидаться. *(Вскакивает.)* Вон уж светает скоро.

ЕСЕНИН. До утра еще далеко, но ты ступай, да шляпу не забудь. Чтоб голову луной не напекло!

КЛЮЕВ *(подхватывает шутку)*. Слышь, ветер-то как воет. Будто над Йоркширскими болотами. А потому, если кувшин луны спустится на веревке вниз, лучше я в него свою шляпу брошу ... Ну ладно, оставим немного шуток и на новый год!

Короткая пауза. Есенин тоже встает.

КЛЮЕВ. В следующий раз встретимся только в 1926-м... Счастливого Нового года, Сереженька, тебе и всей твоей семье!

ЕСЕНИН. Счастливого Нового года, Николай. Привет твоим родителям, ну, и твоей милой сестре. В новом году мечтаю плясать у нее на свадьбе!

Короткая пауза. Они пожимают друг другу руки.

КЛЮЕВ. Если ей удастся выскочить замуж, я, ей-богу, ух как буду отплясывать... Да только она, кажется мне, так и останется старой девой. А мне, видать, жить одиноким и гордым холостяком.

ЕСЕНИН. Да, я знаю, ты – закоренелый бобыль.

КЛЮЕВ. Однако ж молодое мясо я уважаю!

ЕСЕНИН. Вкус у тебя хорош! Я от молодого мяса, несмотря на все мои неудавшиеся женитьбы, более того, несмотря на все происки большевистских крыс, – тоже не отказался бы.

КЛЮЕВ. По сравнению с большевиками крыса, да что крыса, даже тигр — существо слабое и робкое!

Они смеются. Ключев наматывает на шею шарф, надевает бекешу и поглубже нахлобучивает на голову шапку.

КЛЮЕВ. Не дай Бог, чертов ветер сорвет ее у меня с головы!

ЕСЕНИН. Как выйдешь, держись на нее обеими руками! Я тебя провожу.

КЛЮЕВ. Тогда пошли, милый мой! (*Направляется к двери.*) Я словно слышу мягкие шажки: не горничная ли молоденькая идет? ...

Выходят из номера.

Конец девятого действия

ДЕЙСТВИЕ ДЕСЯТОЕ

Место действия — там же; ночь, спустя несколько минут после предыдущего действия.

В номер прокрадываются двое мужчин и прячутся за диваном. Как только вернувшийся в номер, ничего не подозревающий поэт устраивается на диване, один из пришедших подбегает к двери, поворачивает ключ в замке и кладет ключ к себе в карман.

ЕСЕНИН (*удивленный и испуганный*). Вы кто такие? Вы что здесь ищете?

ПЕРВЫЙ СОТРУДНИК ОГПУ. Не что, а кого... Товарищ Дзержинский послал нас к вам, великому поэту, для небольшого разговора...

ЕСЕНИН (*переходит на ты*). Так вы, стало быть, из ОГПУ.

Второй сотрудник в это время подходит к окну и встает там, как Валаамова ослица на горе.

ПЕРВЫЙ СОТРУДНИК. Да, нас уже называют не ЧК...

ЕСЕНИН. Название-то у вас новое, да привычки старые. Если вы с кем-то пришли поговорить, человек редко остается живым после такого «разговора»... (*Подбежав к двери, стучит кулаком и кричит что есть силы.*) Убивают! На помощь!! Кто-нибудь, помогите!!

ПЕРВЫЙ СОТРУДНИК. Здесь никто не посмеет нам мешать. Никто не захочет выступить в роли смиренного самаритянина и рисковать

своей головой, чтобы спасти твою жалкую жизнь! А если, не дай Бог, посмеет, то сильно пожалеет.

ЕСЕНИН. Вы в самом деле собираетесь убить величайшего поэта России?

ПЕРВЫЙ СОТРУДНИК (*после короткого размышления*). Если уж ты так прямо ставишь мне, то есть нам (*оглядывается на напарника*)... вопрос, я отвечу тебе другим вопросом. Отвечу прямо и честно: можно ли делать исключение для какого-то поэта, если других мы приканчиваем, а?

ЕСЕНИН. А ведь у людей блеснула была надежда... Ну, неважно. Хотелось бы знать, в чем обвиняет меня товарищ Дзержинский?

ПЕРВЫЙ СОТРУДНИК. Товарищ Дзержинский? Да ты сам знаешь это прекрасно. Лучше, чем мы. На первый взгляд ты не враг Советской власти. Более того, пишешь стихи, в которых превозносишь товарища Ленина — мир праху его! — и Советскую власть, а потом, в дружеском кругу, поливаешь нас грязью, очерняешь создателей рабочего рая.

ЕСЕНИН (*саркастическим тоном*). Чертовски похож на преисподнюю этот рай, который вы тут сотворили!

ПЕРВЫЙ СОТРУДНИК (*не обращая внимания на слова поэта*). Ты — вроде медного купороса, который в один момент — синий, в другой — зеленый. Но нас, стражей революции, ты с толку не собьешь. (*После некоторого молчания, иронически.*) «Мы создадим такую цивилизацию, — сказал высокообразованный товарищ Бухарин, — рядом с которой капиталистическая цивилизация будет выглядеть, как кошачье мяуканье рядом с Героической симфонией Бетховена». (*После небольшой паузы.*) Мы не позволим, чтобы какой-то поэт ставил нам палки в колеса! Один твой «добрый друг» — раскрывая перед нами твое нутро — регулярно информировал нас насчет твоих делишек. Короче говоря, чаша терпения нашего переполнилась...

ЕСЕНИН. Сгораю от стыда... Даже здесь, перед вами, не могу себе простить, что хоть одно доброе слово написал об этом сатанинском режиме... Чертовски стыжусь!

Второй сотрудник вытаскивает из кармана наган.

ЕСЕНИН (*бросает взгляд на оружие*). Только не думайте, что я в штаны наложил... Но прошу вас, родителей моих, сестер, детей не троньте!

ПЕРВЫЙ СОТРУДНИК. Пусть помалкивают, тогда не тронем.

ЕСЕНИН. Я быстро напишу прощальный стишок, чтобы никто никогда не узнал, что произошло на самом деле. Пускай все думают, что я покончил с собой... А вы за это не троньте мою семью!

ПЕРВЫЙ СОТРУДНИК. Завтра или послезавтра этот стишок появится в какой-нибудь ленинградской газете, мы срочно пошлем его и в Москву. Так мы предупредим обычные в таких случаях разговоры, слухи и возможный скандал. Хорошая идея! Спасибо за сотрудничество! (*Обращаясь к стоящему у окна напарнику.*) Видишь, бывает и так... (*Снова повернувшись к Есенину.*) Вообще-то, чтоб ты знал, я твои стишки уважаю. Нет, в самом деле! Мое любимое – то, где ты пишешь: «Я читаю стихи проституткам и с бандитами жарю спирт»... Но исключения все равно не будет: ведь если не мы, то – нас... Ах ты, опять я слишком разговорился, болтаю всякую чушь!

ЕСЕНИН (*сдерживая ярость*). Эх, и какой же это «мой друг» доносил на меня?

ПЕРВЫЙ СОТРУДНИК. А, не задумывайся над этим! Рано или поздно придет и его очередь, хотя, надо признать, чертов стихоплет – ловкая бестия. (*Бросает взгляд на часы.*) У тебя десять минут, чтобы написать стих. Пусть будет кратким, как выстрел!

ЕСЕНИН. Чернила у меня кончились... (*Кладет на стол чистый лист бумаги; рассекает ножом запястье, затем, время от времени останавливаясь, но без исправлений, пишет кровью стихотворение.*)
Готово. (*Отдает листок первому сотруднику.*)

ПЕРВЫЙ СОТРУДНИК. Уже готово? Ишь ты, как насобачился!
(*Читает вслух.*)

До свиданья, друг мой, до свиданья.
Милый мой, ты у меня в груди.
Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди.

До свиданья, друг мой, без руки, без слова,
Не грусти и не печаль бровей, —
В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей.

ЕСЕНИН. Гм... Видите: кратко, как выстрел...

ПЕРВЫЙ СОТРУДНИК. Многовато в нем «до свиданья», а вообще неплохая лебединая песня. Барышень в слезы будет вгонять... (*Кладет листок со стихотворением на книжную полку.*)

ЕСЕНИН. Цыганка одна...

Второй сотрудник внезапно наносит поэту рукояткой нагана удар в затылок. Есенин падает на паркетный пол: «Отговорила роща золотая березовым веселым языком...»

ПЕРВЫЙ СОТРУДНИК. Что-то он еще собирался сказать.

ВТОРОЙ СОТРУДНИК (*прокашливаясь*). Этого мы уже никогда не узнаем...

ПЕРВЫЙ СОТРУДНИК ОГПУ. «Цыганка одна» – это были его последние слова. (*Короткая пауза.*) Даже и веревка не понадобится... (*Показывает на чемодан Есенина.*) Подходящие ремни.

Мертвая тишина. ГПУшники привязывают ремень к трубе центрального отопления под потолком и вешают безжизненное тело.

ПЕРВЫЙ СОТРУДНИК. Оставим стихотворение на полке. Один из служащих в гостинице – наш человек, я ему объясню, что надо делать. И нужно как можно скорее сообщить старику, Геннадию.

ВТОРОЙ СОТРУДНИК. Порядок.

ПЕРВЫЙ СОТРУДНИК. Знаешь, а мне жаль несчастного. Он писал так, как цветок раскрывается, – так естественно, так спокойно...

ВТОРОЙ СОТРУДНИК. С большевиками, творцами пролетарского рая...

ПЕРВЫЙ СОТРУДНИК (*перебивает*). Который, конечно, еще должен созреть!

ВТОРОЙ СОТРУДНИК. Что должно созреть?

ПЕРВЫЙ СОТРУДНИК. Ну, рай пролетарский.

ВТОРОЙ СОТРУДНИК. А, да! Конечно... Дай договорить... С настоящими большевиками мы никому не позволим безнаказанно ... как бы это сказать-то? (*Пауза. Он пытается думать.*)

ПЕРВЫЙ СОТРУДНИК (*прерывает тишину*). Ладно, в общих чертах понимаю. Честное слово, ты не мастер слова, товарищ дорогой.

ВТОРОЙ СОТРУДНИК. Я – насчет дела больше...

ПЕРВЫЙ СОТРУДНИК. Ну, меня мамаша тоже родила не поэтом, но языком работать я могу.

ВТОРОЙ СОТРУДНИК (*с глупой улыбкой на губах*). Да уж, язык у тебя работает, как ... не знаю что!

ПЕРВЫЙ СОТРУДНИК. А вообще надо отдать ему должное! Он в самом деле был не из трусливых. И, может быть, смертью своей заслужил уважение. (*После некоторой паузы.*) Через окно?

ВТОРОЙ СОТРУДНИК. Ага.

Оба замолкают. Второй сотрудник вставляет ключ в замок двери; затем, распахнув окно, из которого виден Исаакиевский собор, они выбираются наружу. В окно врывается ледяной ветер.

Конец десятого действия

2003